

Михаил Ямпольский

## Сергей Козлов: иное понимание культуры<sup>1</sup>

Мой ближайший друг Сергей Козлов (для меня — Сережа), к сожалению, оставил после себя немного книг, но ценность их велика и, на мой взгляд, возрастает. Наиболее значимым его текстом является монография «Имплантация», опубликованная в конце 2019 года (на титульном листе книги год выхода обозначен 2020-м). Работа над ней затянулась на годы, а влияние этой книги, к сожалению, далеко не соответствует тому интеллектуальному потенциалу, который в ней содержится. Во многом это связано с той внешней темой, которой она посвящена. Когда Сережа рассказал мне об этом замысле, не скрою, я почувствовал недоумение. Он намеревался посвятить годы жизни и свою оромную эрудицию изучению тех форм, которые принимало гуманитарное знание во Франции, в частности в колледжах и университетах в XIX веке. Мне казалось, что эта тема не может заинтересовать читателя, тем более что французская гуманитарная наука XIX века сегодня кажется такой устаревшей. Не менее странным для меня был и выбор одного из главных персонажей исследования — Эрнеста Ренана, которому Сережа посвятил отдельную небольшую книгу, позже инкорпорированную в «Имплантацию». «Кому сегодня интересен Ренан?» — говорил я себе.

И только постепенно я осознал, что выбор этой темы был в значительной степени определен застарелой неудовлетворенностью Сережи состоянием гуманитарных наук, прежде всего в нынешней России, и филологии в особенности. Вообще читая козловские описания французской науки позапрошлого века, видишь, как настойчиво он проводил параллели с советской и постсоветской наукой. Он искал выход из филологического тупика в истории научного знания, окрашенной социологией. Большую роль в этом, несомненно, сыграл Карло Гинзбург, чьим переводчиком и другом Сережа стал. Из классиков отечественной науки он особо ценил Лидию Яковлевну Гинзбург, особенно в той части ее наследия, где она размышляла о сложной эволюции наследия формалистов<sup>2</sup>. Большое влияние на него оказала историческая социология зна-

- 
- 1 Приношу благодарность инициаторам этого блока М. Майофис и А. Дмитриеву за внимательное прочтение и ценные замечания и подсказки, которые я постарался учесть.
  - 2 Мне кажется, что именно Гинзбург подтолкнула Козлова в сторону неординарно понятой социологии, о необходимости которой она писала уже в 1920-е годы: «На днях разговор с Иос.М. Тронским, который как-то окончательно утвердил мои мысли последнего времени: нужна литературная социология. Два года тому назад Шкловский объявил публично: «Разве я возражаю против социологического метода? Ничуть. Но пусть это будет хорошо». <...> Ю.Н. (Тынянов) говорил как-то со мной о необходимости социологии литературы (он ведь не боится слов), но только могут ее написать не те, кто ее пишут» (*Гинзбург Л.* Человек за письменным столом. Л.: Советский писатель, 1989. С. 29). И позже: «Эпохален формализм еще тем, что в своей склонности к аналитическому разъятию он был неузнанным двойником исторического и социологического анализа» (Там же. С. 318).

ния, так как она была сформулирована Фрицем Рингером в книге «Закат немецких мандаринов: академическое сообщество в Германии, 1890—1933» (М.: Новое литературное обозрение, 2008)<sup>3</sup>. Рингер анализировал особенности немецкой науки конца XIX — первой трети XX веков в контексте интеграции немецких университетских профессоров в немецкое общество и его политическую структуру. Интерес Козлова к Франции, а не к Германии, как мне кажется, был связан с тем, что он видел сходство между Францией и Россией, которая в конечном счете и была центром его интереса.

Настороженность по отношению к филологии, по моему мнению, была во многом связана с теми моделями изучения словесности, которые сложились в СССР. С одной стороны, тут была очевидная ориентация на поверхностное соединение мифологизированной истории Советского Союза с неким литературным каноном, не предполагавшим никакого углубленного прочтения текстов. Это модель школы и университетов. Козлов так определял эту установку: «Нам было привычно мыслить изучение родного и иностранного языка, изучение литературы и изучение истории как некий единый комплекс, направленный на овладение мировой культурой и формирование культурного человека»<sup>4</sup>. Такое знание было принципиально непрофессиональным, но необходимым для интеграции людей в социум, «верхушка» которого состояла из «культурных людей». Этот первый тип образования и культуры Козлов сравнивает с иезуитским образованием во Франции старого режима, где постулировался принцип «умеренности» в познании. Тут господствовала установка не на углубленное понимание, а на овладение необходимыми в обществе умениями говорить и писать<sup>5</sup>. Такая *иезуитская* и *советская* образовательная система готовила детей «к полноценной и успешной социальной жизни, давая все необходимое, но не обременяя избыточной образованностью (той обузой, которая сегодня обозначается выразительным английским словом *overeducation*)»<sup>6</sup>. Главным тут была подготовка определенного типа «идеальных людей», обозначаемых понятием *honnête homme*, то есть *приличный человек*, способный функционировать в определенной социальной среде высшего эшелона. Козлов, таким образом, осмысливает тип образования и соотносимой с ним культуры в основном как инструмент интеграции определенных слоев общества в некое единство. Поверхностность знаний выступает тут как существенный фактор: «...в беседе “приличных людей” ученость вполне допускается, но она должна знать свое место. Такая установка не может не напомнить об “умеренности”, которой требовали иезуиты в отношении учености»<sup>7</sup>.

Козлов показывает, почему в рамках такой социальной установки риторика во Франции господствовала над философией и почему это понимание культуры доминировало именно во Франции. «Приличные люди» — это в большой

3 Рингер появился в русском переводе по инициативе А. Дмитриева, с которым Козлов очень дружил.

4 Козлов С.Л. Имплантация. Очерки генеалогии историко-филологического знания во Франции. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 57.

5 Козлов, как обычно, отмечает: «...литературные тексты служили здесь в первую очередь практическими примерами. Если искать в нашем нынешнем обиходе какие-либо параллели такой постановке гуманитарного образования, то некоторым аналогом окажутся наши институты...» (Там же).

6 Там же. С. 47.

7 Там же. С. 71.

мере аристократы, посетители салонов. В Германии же сообщество «образованных людей» гораздо в меньшей степени был связан с подобным кругом людей. Рингер называет немецких профессоров «мандаринами» и делает акцент на их профессиональности, а не приспособленности к светскому общению:

...я бы определил мандаринов просто как социально-культурную элиту, которая обязана своим статусом прежде всего образованию, а не наследственным правам или богатству. В эту группу входят врачи, адвокаты, министры, государственные служащие, школьные учителя, университетские преподаватели; все они — обладатели ученых степеней, приобретенных в результате получения определенного образовательного минимума и сдачи экзаменов установленного образца<sup>8</sup>.

Соответственно, культура, сложившаяся вокруг немецких университетов, была другой, более «научной», профессиональной (если позволить себе использование подобной терминологии). Филология тут была ориентирована на герменевтику, то есть углубленное комментирование и интерпретацию текстов, нужды в которых французы не испытывали.

Попытка познать все возможные смысловые аспекты текста ведут филологию в сторону истории (один из основателей немецкой филологии Август Бёк считал филологию по существу неотличимой от совокупности разных областей историографии), и такого комплекса знаний, который не может быть никогда исчерпан и освоен. Сережа отсылает к определению филологии, данному Григорием Винокуром, при этом указывая на его связь с Бёком: «...филология учит читать с расчетом на исчерпывающее усвоение содержания, читать так, чтобы не оставалась в тексте непонятой ни одна буква, ни одна мельчайшая подробность изложения. Филология велит знать и понимать все, и в этом ее великое значение в истории человеческой культуры»<sup>9</sup>.

Все интересующиеся филологией знают, какое значение в системе ее ценностей имеют тома комментариев к художественным текстам. Для российской культуры фетишизм исчерпывающего комментария характерен едва ли не больше, чем для любой другой, хотя образчиков таких всеохватных комментариев не так уж много. Они составляют скорее некий «идеальный тип», чем реальную практику. Энциклопедический сверхкомментарий (немецкого образца), как показал Козлов, не вызывал энтузиазма во Франции. Так, напри-

8 Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890—1933 / Пер. Е. Канищевой и П. Гольдина. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 10.

9 Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук / Сост. С.И. Гиндлина. М.: Лабиринт, 2000. С. 65. Козлов перевел на русский язык статью Селин Тротман-Валлер, в которой подробно исследуется генезис у Бёка представления о филологии как совокупности всех дисциплин («филология вещей») в полемике с «филологией слов» (то есть текста) Готфрида Якоба Германа (Тротман-Валлер С. Филология вещей или филология слов? История одного спора и его сегодняшние продолжения // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. С. 28—41). Любопытно, что Тротман-Валлер много занималась связью русской филологии с немецкой классической филологией. Среди прочих я бы сослался на ее исследование оформления русской нарратологии через критику учения ученика Бёка Геймана Штейнтала (Trautmann-Waller C. Aux origines de la narratologie: mythe, poésie populaire et épopée entre philologie allemande et philologie russe (Steintal, Potebnja, Veselovskij) // Revue germanique internationale. 2006. № 3: L'Allemagne des linguistes russes. P. 95—109). Многие в ее исследованиях созвучно исканиям Козлова.

мер, любимый герой Сережи Ренан утверждал, что задача филологии вовсе не в изучении отдельных текстов некоторых гениев, но установка на понимание духовной составляющей человечества или нации. А потому внимание филолога должно быть сосредоточено на фольклоре, мифологии, тех произведениях, которые «созданы коллективно». Ренан писал о «жалком восхищении» «почерком писателя» и заключал: «Вообще хорошая критика должна остерегаться слишком доверять индивидуумам и отводить им слишком большое место»<sup>10</sup>.

Такая филология бездонного комментирования восходит к библейской экзегетике и имеет смысл только в культуре, фетишизирующей собственный канон классиков. Иначе трудно понять ее смысл. Но исследование Козлова важно потому, что оно показывает, каким образом определенный тип филологии и производимой ей культуры выполняет роль социального интегратора. Знание, предполагаемое культурой сверхкомментариев, не может быть востребовано сколько-нибудь широким социумом, оно обречено быть достоянием узкой группы людей, и, что особенно важно, способом конституирования закрытого и высоко престижного сообщества экспертов. В России такая филология приобретает все свое значение на фоне того поверхностного образования, которое формирует советского «культурного человека». Я хорошо помню процедуру оформления такого сообщества через публикации в сборниках, выходивших мизерными тиражами, или конференции закрытого типа в Тарту или Резекне. «Немецкая» филология российского образца организовывала закрытый социум, противостоящий демократичности «совкового» дискурса о культуре.

Это удвоение филологий и культур в институциональном плане воспроизводило типично советское отделение образования (вузов) от науки (академических исследовательских институтов). В одном месте производили клише официального дискурса, а другом можно было заниматься «пониманием». Хотя, конечно, это разделение во многом было условным. Исследования Козлова особенно актуальны сегодня в контексте бесконечных разговоров о существовании российской культуры (имперской и проч.). Они напоминают нам о том, что культура имеет практическую социальную функцию и не является набором «духовных» ценностей. Она позволяет вписываться в определенные группы. И позволяет каждой из этих групп формировать собственный тип культуры (даже внутри единого государственного или национального контекста). Так, в важной теоретической декларации о состоянии филологии — статье, вызвавшей интересную полемику, — «Осень филологии» Сережа утверждал, что в России некий аналог немецким академическим «мандаринам» создается декларированным интересом к «методам» и «методологии», к которым безразличны «практики» этой науки. Внутри самой филологии Козлов видел иерархию, составленную из «исполнителей» и «контролирующих инстанций». Это разделение позволяло в самой науке отделить «сообщества исследователей» от «научных институций»:

Если бы я и сейчас выступал в качестве заведующего чем-нибудь научным, я бы, вероятно, *ex officio* по-прежнему рассуждал бы об актуальных научных направлениях. Но я сейчас выступаю в качестве простого филолога-практика. Так вот, с точки зрения филолога-практика, дискурс методологической актуальности —

10 Ренан Э. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 1. Киев: Б.К. Фукс, 1902. С. 129.

это дискурс не научных сообществ, а научных институций: издательств, институтов, академий, фондов, журналов, университетов, научных центров, высших аттестационных комиссий. Понятие «методологической актуальности» нужно всем этим организациям для выполнения своих непосредственных функций<sup>11</sup>.

Это различие внутри науки разных сообществ и властных отношений было чрезвычайно важно для отказа от понимания филологии как некоего единого недифференцированного поля. Такая недифференцированность, по мнению Козлова, имела два аспекта. С одной стороны, она прямо вела в область поверхностности и «общей культуры» советско-иезуитского образца, а с другой стороны, в самой науке порождала всеядный эклектизм и узаконенное эпигонство, защитником и выразителем которых в глазах Козлова был французский филолог Антуан Компаньон. Этот эклектизм Сережа видел в нынешней филологии и связывал его с эпохой рынка, когда можно без проблемы купить все, что может согдаться. Этот новейший этап гуманитаристики он называл «эпохой остывания».

С таким подходом связано то, как Козлов понимает филологию (и шире, гуманитарные науки). Филология — это не метод изучения некоего предмета, объекта, культурного «поля». Это инструмент формирования этого объекта или «поля». И в этом смысле можно согласиться с Винокуром, который решительно отказывал филологии в статусе науки:

Со всей решительностью нужно установить прежде всего то положение, что филология не есть наука, точнее — что нет такой науки, которую в отличие от других можно было бы обозначить словом «филология» как ее названием. Эмпирическое содержание всего того, с чем имеет дело филология, без остатка покрывается предметом соответствующих специальных наук, исследующих отдельные стороны исторической действительности. Поиски специфического содержания для филологии на этом пути, как мы имеем право заключить на основании множества попыток этого рода с конца XVIII в. и до наших дней, абсолютно бесплодны и не могут привести ни к какому положительному результату<sup>12</sup>.

Филология формует тот объект, который она изучает, и вкладывает в него тот материал, который пригоден для приспособленного для него «метода». Но формирует она своей предмет каждый раз по-новому, соединяя под своим крылом те многочисленные дисциплины, о которых говорил Винокур. Соединение же дисциплин невозможно вне образовательных и исследовательских институций. Филология в таком понимании становится неким набором дисциплин, интеллектуальным «лего», находящимся в процессе постоянной перекомпоновки.

Культура же в таком контексте оказывается продуктом определенной конфигурации наук, ее изучающих, а сам этот «продукт» оказывается производителем сообществ того или иного типа, часто, впрочем, антагонистических образцов. При этом метод науки и ее объект обычно заимствуются из другой национальной традиции, но при переносе на иную почву порождают нечто новое. П.Н. Медведев в известной книге о формальном методе в русской филологии говорит о том, что формализм в России был прямым последователем

11 Козлов С. Осень филологии // Новое литературное обозрение. 2011. № 4. С. 16—17.

12 Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук. С. 51.

западноевропейского формализма, хотя «непосредственной генетической связи здесь, по-видимому, не было»<sup>13</sup>. И при этом он указывает на принципиальную узость и кружковость этого направления:

Особенно в первый период развития научный кругозор формалистов был чрезвычайно узок; движение носило замкнутый кружковой характер. Самая терминология формалистов, лишенная сколько-нибудь широкой научной ориентировки, носила такой же кружковой, жаргонный оттенок. Дальнейшее развитие формализма происходило в условиях научной блокады, что также не могло благоприятствовать широкой и отчетливой взаимоориентации его с другими направлениями и течениями западноевропейской искусствоведческой и литературоведческой мысли<sup>14</sup>.

Этот кружковый характер был связан с рыхлыми очертаниями того поля, которому формализм противостоял. Медведев называет это поле «идейной публицистикой и религиозно-философской критикой»<sup>15</sup>. В мое намерение здесь не входит описание того, как «идейная публицистика» формирует одно очертание культуры как социального интегратора, а формалистская «узость» и «кружковость» — принципиально иное. Однако и то и другое может служить моделью тех культурных социумов, на которые разбивается всякое общественное пространство.

Но «узость» и «кружковость» в терминологии Медведева прямо соотносятся с «*односторонностью*», о которой писала Л.Я. Гинзбург. Само это понятие у нее позаимствовал Козлов. Гуманитарная область понимается Козловым как сфера стыковки и комбинаторики «узких» дисциплин, каждая из которых осознает собственные границы и ограничения<sup>16</sup>: «Принципом научной эволюции в филологии была борьба и смена методологических односторонностей»<sup>17</sup>, — пишет Козлов, видя в этой конфликтной сборке основной механизм обновлений в гуманитарных науках, который, по его мнению, в последнее время перестает плодотворно функционировать.

Здесь, возможно, мы подходим к главному ядру Серезиной мысли. Мне кажется, что его основное *specto* может быть понято как твердая установка на уход от аморфных всеобщностей, вроде «литературы», «культуры», «филологии», принципиальный разрыв с тем, что Гинзбург называла «пафосом широких горизонтов». Именно поэтому в любой культурной «всеобщности» было необходимо обнаружить гетерогенную многосоставность. Делез считал одной из задач философии разрушение того, что он называл «планом консистентности или имманентности», то есть однородности поля. Мне кажется,

13 Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику. М.: Лабиринт, 2000. С. 221.

14 Там же.

15 Там же. С. 235.

16 Гинзбург писала: «Мне крайне неприятны в себе и в своих товарищах удовлетворенность собственными дерзновениями и пафос широких горизонтов. Идя в любую культурную деятельность (науку, искусство, философию), надо помнить: что плохо — то плохо (как, идя в лавку, помнить: что дешево, то плохо); обзавестись же теоретически широкими горизонтами и всеприятием не в пример легче, чем сконструировать и использовать систему плодотворных односторонностей» (*Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом*. С. 55).

17 Козлов С.Л. Осень филологии. С. 20.

что и интерес Сережи к социологии культуры тоже вписывается в эту установку. Социология, в конце концов, — это установка на дифференциацию такой неопределенности, какую являет из себя социум. Социология обнаруживает в этой невнятности различные группы, интересы, конфликты и т.д. Она подменяет невнятицу артикуляцией. Таков и основной пафос исследований Сережи — обнаружить за пустой всеохватностью филологии систему меняющихся и конфликтующих *односторонностей*. Именно поэтому с такой последовательностью Козлов связывал гуманитарную науку с проблемами сообщества, институций (как иерархически организующих сообщество структур). И именно в силу такой установки подход Козлова может быть хорошим ориентиром для ищущих выхода из того тупика, который сегодня наметился в разговорах о культуре.

В «Имплантации» Сережа показывает, как трансформируется объект «литература» и соотносимая с ним филология. В целях анализа он различает *внутреннюю* историю филологии, сосредоточенную на «сменяющихся друг друга способах предъявления текстов», и *внешнюю* историю. По выражению важного для Козлова автора — Мишеля Эспана, такая история является историей «поэтапного вписывания филологии во все более и более усложняющийся “пазл”, которым являются расклад и комбинация гуманитарных дисциплин в их историческом становлении»<sup>18</sup>. Речь идет о том, какую констелляцию дисциплин представляет в тот или иной период авангард гуманитарного знания. Это изменение комбинации дисциплинарных подходов приобретает особое значение по мере исчерпания исторического метода, о котором писал Ренан еще в конце XIX века. Моделью таких сменяющихся дисциплинарных констелляций для Сережи была знаменитая Парижская школа высших исследований, долгое время находившаяся в авангарде гуманитарного знания. Инновации и переформулировки объекта «культура», по мнению Сережи, буквально совпадали с созданием внутри этой школы новых «отделений», например Пятого, где доминировали ученики Дюркгейма Анри Гюбер и Марсель Мосс и присоединившиеся к ним Марсель Гране, Этьен Жильсон, Александр Койре и Жорж Дюмезиль. После войны, в 1947 году, возникло Шестое отделение, ставшее платформой нарождающейся школы «Анналов» и т.д. «Имплантация» убедительно показывает, как институции по-разному оформляют дисциплинарный комплекс и создают основание для пересмотра объекта и соответствующего развития гуманитаристики, ее обновления. Методы «бездонного комментирования» и тотального историзма<sup>19</sup> или теоретической эклектики и всеядности, все еще процветающие в России, в какой-то момент исчерпываются и ведут к тому кризису гуманитарного знания, который так очевиден сегодня и о котором писал Козлов<sup>20</sup>. Усвоение наследия Козлова может помочь нам если и не выйти из кризиса, то хотя бы осознать его параметры и предложить нам подход к его пониманию.

18 Козлов С. Имплантация... С. 436.

19 Козлов различал две исчерпавшие себя утопии филологии — романтическую (ориентированную в прошлое) и позитивистскую.

20 «К 1990 году исторические и филологические науки вошли в общий кризис. Кризис был связан с нехваткой нового материала, с нехваткой новых идей, с институциональным застоем, с падением социального престижа гуманитарных наук и спроса на них» (Там же. С. 439).